

Филипп Эриа

ИСПОРЧЕННЫЕ ДЕТИ

КНИГА ВТОРАЯ

НОВЫЕ ГЕРОИ В СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКЕ



Буссардели

Филипп Эриа

Испорченные дети

«Азбука»

1939

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44

Эриа Ф.

Испорченные дети / Ф. Эриа — «Азбука», 1939 — (Буссардели)

ISBN 978-5-389-34446-4

В «Испорченных детях» Филипп Эриа рассказывает о новых поколениях могущественного клана Буссардель. За этой громкой фамилией скрываются жестокие люди без совести и морали, которые ради собственного благополучия готовы на любую подлость. Агнесса Буссардель с самого детства ощущает себя белой вороной в этом семействе. Ее раздражают лживые традиции, чопорные родственники и лицемерное воспитание. Между тем она не замечает, что и сама тратит огромные деньги на наряды и путешествия, сплетничает и участвует в интригах. Чтобы вырваться из семейных сетей, Агнесса уезжает на учебу в Америку, но такая долгожданная свобода не приносит ей счастья. По возвращении в Париж Агнессе предстоит сделать непростой выбор: стать частью Буссарделей или пойти наперекор семье.

УДК 821.133.1-31

ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-389-34446-4

© Эриа Ф., 1939

© Азбука, 1939

Содержание

Вступление	6
I. Возвращение	8
1	9
2	14
3	20
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Филипп Эриа

Испорченные дети

Philippe Hériat
Les Enfants gâtés

Иллюстрация на обложке *Марины Ларченко*

© Éditions Gallimard, Paris, 1939

© Жаркова Н.М., Песис Б.А., наследники, перевод на русский язык, 2025

© Издание на русском языке ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2025

Издательство АЗБУКА®

Вступление

Она сказала:

– Пусть так, возможно, вы и правы. Может, и впрямь будет полезно записать эту историю, чтобы она не покрылась мраком забвения. Я вам ее расскажу. Только прошу вас раз и навсегда не удивляться тому, что рассказывать буду с полной откровенностью. Учтите, что я вовсе не собираюсь настаивать на своей правоте. Истина – вся истина – никогда не бывает ни на той, ни на другой стороне.

Но внезапно она замолчала, не произнесла больше ни слова, не пошевелилась. Мне почудилось даже, что она затаила дыхание. Невольно мне на ум пришел дирижер оркестра, который, бессильно свесив руки, дает своим музыкантам последнюю передышку перед решительным tutti.

Мне показалось, что она пытается отбросить сдерживавшие ее до этой минуты чувства: стыдливость, отвращение перед бесполезным копанием в давно забытых кладовых, а также хочет побороть свою вторую натуру, как все одинокие, для которых тишина становится привычным фоном дня, а слово – быстро смолкающим звуком.

И тут же со странной настойчивостью повторила: «Ну что ж, расскажу вам о себе», – но уже совсем иным, нарочито небрежным тоном и сделала вид, будто согласна рассказывать лишь только потому, что вдруг обнаружила в своей истории доселе неведомые, лестные для себя стороны. Я же догадался, что она давно готовила свой рассказ. Я вспомнил, что еще накануне она старалась оттянуть эту минуту: ясно, она не спала всю ночь, роясь бессонными часами в своем прошлом, вытаскивая на свет божий портреты и письма, совлекая покровы с той женщины, какой была раньше.

Знал я также, что этим самым утром она на несколько дней отослала сынишку к соседним рыбакам, единственным своим друзьям. Я понял этот ее жест: удалив сына, она тем самым позволяла своему собственному призраку обрести плоть и войти в ее дом. Под этим кровом не было места одновременно для молодой девушки, уже ушедшей из жизни, и для ныне здравствующего ее сына.

Сидя рядом со мной в саду на площадке, Агнесса Буссардель покачивала головой; и, пожалуй, чересчур резки, как у Юноны, были черты ее лица, еще слишком молодого, чтобы огрубеть.

Она сидела, уставив в пол свои прекрасные глаза, – видимо, так ей было легче собрать воедино разрозненные части своей истории, заранее расклассифицировать их, выбрать то, что позволило бы, ради вящей убедительности, наиболее экономно и с наибольшей точностью воспроизвести события, еще жившие в ее памяти. Я мог быть совершенно спокоен: мне не угрожала случайная импровизация.

Все эти предосторожности, которые, впрочем, вскоре на моих глазах отступили под напором воспоминаний, а возможно, и злопамятства, лишь затруднили начало рассказа. Но эта странная женщина, которая даже в моем присутствии непрестанно за собой наблюдала, спохватилась сама; она не сразу нашла первые фразы и объяснила это лавирование трудностями любого начала: как ухватить первое звено в цепи?

– Я не буду рассказывать вам о моем детстве, – произнесла она. – Упомяну только то, что потребует ход рассказа, и то, что покажется мне необходимым. А если понадобится, возвращусь вспять. Так все-таки лучше. Чтобы разглядеть сущность человека за мыслями и действиями других людей, особенно когда говоришь о себе, календарь – ненадежный проводник.

Она добавила:

– А как по-вашему? – и по ее равнодушному тону я понял, как далеко меня оттеснили тени, оживавшие в ее мозгу.

Я согласился. Признался, что в области повествовательной я считаю хронологию обманчивым, хотя и наиболее удобным орудием. Ибо годы, дни и часы жизни никогда не казались мне неподвижными величинами, выстроенными соответственно датам в некую незыблемую линию; напротив того, я ощущаю их как в высшей степени непоседливые элементы, как частицы, вращающиеся в системе нашей умственной галактики. И я считаю, что мы представляем собой сумму моментов, вновь и вновь неизменно перемешивающихся между собой.

Я просто не понимаю, как история любого из нас может строиться на датах, если при ближайшем рассмотрении оказывается, что этапы ее то и дело меняются местами, а развитие завершается в порядке, противоречащем физическим законам, коль скоро с приходом ночи все вдруг освещается солнцем, река течет вспять к своим истокам, а цветок еще упорно держится на ветке, хотя плод давно сгнил.

* * *

Но меня уже не слушали. Та, с которой я беседовал, сама видела во мне лишь слушателя, и я не смел ее прерывать. Теперь ее мучило нетерпение, которое не оставит ее и в течение часов, в течение долгих дней будет держать в состоянии лихорадочного ясновидения.

I. Возвращение

– Проще всего было бы начать с Нью-Йорка, – сказала Агнесса Буссардель. – Но, пожалуй, лучше, чем с самого Нью-Йорка, начну с верхушки небоскреба на Пятой авеню, где я провела свои последние минуты в Америке. Не сомневаюсь, что такое начало покажется вам несколько модернистским и условным. Зато мой рассказ будет более ясным и точным. Ничего не поделаешь! Впрочем, я поднялась так высоко в то утро, в день моего отъезда, вовсе не ради удовольствия сделать эффектный жест, а просто чтобы там позавтракать. Вы знаете американцев? В моих глазах самым привлекательным их свойством является то, что я про себя называю «постоянной готовностью». Они всегда готовы сделать то, что никогда не делалось или не делается. Возьмите хотя бы их склонность строить дома выше церквей, продавать пиво и теннисные мячи в консервных банках и оказывать внимание незнакомке, которая в восемь часов утра в пустынном дансинге на семидесятом этаже просит подать ей завтрак.

Последнюю неделю я провела в Нью-Йорке. Я приехала сюда свежая, бодрая, хотя «Стрим Лайнер» – экспресс, который увез меня из Сан-Франциско, – катит с такой скоростью, что сдают нервы, и так в течение целых трех дней. Но в последующие двое суток я совсем вымоталась и к концу недели от усталости просто лишилась сил.

Самая удивительная, самая невыносимая неделя из всех моих американских недель. Ни с чем не сравнимое чувство, необъяснимое наваждение, какое-то безумие вдруг охватило меня, как только я вышла из вагона; оно в течение целых восьми дней носило меня по всему Нью-Йорку, бросало из одной части города в другую, без конца приводило все на те же перекрестки. Каждый раз я застревала на улицах до двух-трех часов ночи. А в восемь утра та же сила подымала меня с постели, гнала прочь из отеля. Мне хотелось видеть буквально все – иллюзорная надежда в этой точке земного шара! Даже больше: увидеть все вторично, еще раз пройти мимо того, что меня особенно поразило, восхитило или взволновало. Я сама понимала, что произвожу впечатление одержимой, хозяйки дома, охваченного огнем, которая, невзирая на близкую опасность, бежит из комнаты в комнату, пытаюсь спасти это, и это, и еще вот то, вопреки благоразумию и вопреки рассудку.

Каким образом это смятение не открыло мне глаза на то, что происходило, на то, что зрело во мне? Должно быть, я совсем потеряла голову, раз все это от меня ускользало. Даже мой туристский пыл был просто неестествен после двух долгих лет пребывания в Соединенных Штатах, в течение которых у меня было достаточно времени подумать о возвращении, радоваться ему в мыслях, десятки раз отодвигать назначенную дату отъезда, зная, однако, что она неминуемо близится, и наконец принять решение без горечи. Повинуясь голосу инстинкта, я собирала обильную жатву впечатлений и воспоминаний, как бы в предвидении многолетней голодовки. Вот это-то и должно было бы меня насторожить.

1

Итак, за два часа до отбытия судна я отправилась пешком в Рокфеллер Центр, куда из нашего отеля, помещавшегося на Пятьдесят девятой улице, было рукой подать. Несколько раз я ходила туда ужинать на самый верх. В этот утренний час Рэнбоу Рум была отдана во власть уборщиков. Однако мой приход не вызвал у них ни удивления, ни комментариев в противоположность тому, что неизбежно произошло бы во Франции и в обществе французов. Это навело меня на кое-какие мысли. И мысли эти тоже были предзнаменованием.

Когда я сообщила о своем желании позавтракать, мне указали столик у окна в углу и отодвинули оттуда пылесосы. Бой-японец, пересаживавший растения в ящике, стоявшем вдоль стены, даже бровью не повел. Он продолжал трудиться, сидя на корточках у моих ног, гибкий и подтянутый в своей зеленой полотняной блузе; и оттого, что он был здесь и работал, я чувствовала себя еще лучше. За стеклом на крыше небоскреба два молодых человека мыли плитки, подставив яркому утреннему солнцу свои обнаженные торсы.

Официант принес мне, уж не знаю откуда, целый поднос, заставленный тарелками с едой, после чего меня оставили в одиночестве. Бой-садовник мною не интересовался. Город с этой высоты казался не таким гигантским, был словно нанесен на карту. Многое скрадывал полумрак, окутывала уходившая тень. Централ Парк уже успел порыхнуть – жертва нью-йоркской жары, беспощадного нью-йоркского лета, континентального и морского одновременно; однако в этот утренний час, когда над городом еще нависала неподвижная завеса тумана, дышалось вольнее.

Я прислонилась плечом к стеклянной перегородке. Сквозь легкую ткань платья я ощущала, как проникает в меня, до самых глубин моего существа, мощная вибрация верхних этажей небоскреба, раскачиваемых ветром. Я даже не притронулась к очищенному грейпфруту, к солодовому молоку, ко всем этим блюдам, которые оставляют на небе приторный вкус и холодят язык и которые тем не менее были моей пищей в течение двух лет.

Я не стала задерживаться в ресторане и вышла на крышу – Обсервейшн Руф. И очутилась лицом к лицу с яростными порывами ветра; целые полчаса я посвятила путешествию вокруг вершины небоскреба. В зависимости от того, переходила ли я с западной стороны на южную или с южной на восточную, всякий раз моему взгляду открывался совсем новый город. Один – весь залитый светом, смазывавшим задний план, второй – с более резкими очертаниями, вытянутый в направлении океана, похожий на прилегшего зверя, чья голова уходит за горизонт, третий – весь в провалах теней, оцетинившийся со всех сторон квадратными башнями и обелисками; и почти повсюду – отливавшая сталью поверхность вод, соседствующих с городом.

Я стала расспрашивать мойщиков. Отвечали они мне фамильярным тоном. Почти у самого моего лица они размахивали голыми руками, стараясь поточнее указать интересовавшие меня площадь или строение. А я придерживала шляпу, боясь, что ее унесет ветром. Я еле стояла на ногах, ветер то толкал меня в спину, то в бок, когда я поворачивалась к своим собеседникам. А они, привыкшие к этому шквалу, инстинктивно по-морскому расставляли ноги, и их ничуть не качало.

Мой еле заметный иностранный акцент их удивил. Тот, что был помоложе, засыпал меня вопросами. Он просто не мог поверить, что я француженка. А когда я сообщила, что скоро отходит мой пароход, он даже охнул. Боюсь, что я была польщена его вниманием. Я с улыбкой отвечала на его вопросы. Рассказала о годах учения в университете Беркли. Сам он заканчивал курс Колумбийского университета, чья футбольная команда пользуется громкой славой. Но чтобы платить за учебу, приходилось мыть полы. Он добавил, что сейчас пишет танцевальную музыку, пока ему еще не удалось продать ни одного своего опуса.

Юноша снова взялся за брандспойт, за то орудие, которое сперва дало ему возможность образовать свой ум и натренировать тело, а теперь позволяло сочинять вальсы. И опять я подумала, что Соединенные Штаты представляют собой некий лагерь для тренировок, что физический труд здесь с первого взгляда напоминает спорт (тот же полуигровой ритм движений, те же полуобнаженные торсы), тогда как занятие спортом – настоящая работа.

Я снова нагнулась над Нью-Йорком. Я медлила, все время поглядывая на свои часы, разрешала себе постоять здесь еще пятнадцать минут, потом еще пять. И вдруг я почувствовала, что раннее это утро будет и останется самым ярким из всех моих воспоминаний, что, быть может, это-то и есть знаменательнейший миг всей моей жизни.

Когда я подошла к двери, собираясь спуститься с высот на землю, оба юноши помахали мне на прощание рукой и крикнули:

– So long! Come again!¹

Там эта фраза в ходу, нечто вроде формулы. Мне ее говорили тысячи раз, даже в магазинах. Но сейчас она почему-то прозвучала для меня совсем по-новому. Я остановилась, застыла на пороге, так его и не переступив. Come again! И речи быть не могло, что я когда-нибудь сумею вновь посетить Америку. Даже сейчас, когда прошло столько времени, даже сейчас об этом не может быть речи. И все же... Come again...

* * *

Когда на пароходе мне открыли дверь моей каюты и я вошла туда, первым делом я заметила на столе уже поджидавшие меня телеграммы. Я их вскрыла. Тут были пожелания счастливого пути, которые посылали мне мои подруги по университету Беркли, и все это в традиционном духе: от Салли, от Филли, от Джен... Ни одного мужского имени. Я перечитала их еще раз. Проверила каждую подпись.

Горничная предложила разобрать мои чемоданы. В эту минуту раздался телефонный звонок. Я жестом попросила горничную взять трубку в полной уверенности, что позвонили по ошибке.

– Простят мадемуазель Буссардель, – сказала горничная, вопросительно глядя на меня и прикрыв ладонью трубку.

– Это я. Но кто звонит? – осведомилась я.

Горничная спросила, потом передала мне:

– Судовой комиссар.

Она протянула мне трубку. Я была удивлена, услышав вполне светский голос и просьбу принять самые искренние пожелания. По своей наивности я ожидала разговора с офицером, а вместо него оказался в высшей степени галантный чиновник. Франция вновь брала свои права.

Мой собеседник заявил, что он с огромным нетерпением ждал той минуты, когда я войду в каюту. И я шутливо поздравила его с той поистине магической скоростью, с какой дошло до него это известие. Он принял мой комплимент всерьез и сказал, что среди длинного списка пассажиров сразу же заметил фамилию Буссардель.

– Я парижанин, так что не удивляйтесь, – говорил он очень любезным тоном. – Увидев вашу фамилию, я от души пожелал, чтобы вы оказались одним из членов семейства мсье Теодора Буссарделя, биржевого маклера.

Я невольно улыбнулась. Не так церемонным речам своего собеседника, как неожиданному появлению нашей семьи.

Ибо и впрямь дело пошло быстро. Они не заставили себя ждать. Театр, где должен был разыгаться спектакль возвращения под отчий кров, еще не был освещен, еще не прозвучали

¹ До свидания! Возвращайтесь! (англ.)

за кулисами три традиционных удара, еще я не была готова к выходу, но, опережая назначенный час, все они, с обычным своим многозначительным видом, уже ворвались на сцену под предводительством своего вождя, почтенного главы нашего дела – моего дяди Теодора.

– Это мой дядя, – сказала я комиссару.

– Тогда, значит, вы дочь его брата и компаньона, иначе быть не может. Я имею честь знать также и его.

Весь этот разговор прозвучал для меня по-странным, я сказала бы, даже по-иностранному... Мне почему-то казалось, что мы беседуем не на моем родном языке. Возможно, объяснялось это тем, что за последние два года я впервые слышала чистую французскую речь.

Я ответила:

– Его компаньон?... Это мой отец.

После этих слов в трубке завоскликали, предложили мне выбрать каюту, более удобно расположенную. Не сочту ли я за труд пройти в салон комиссара и самой указать на плане каюту из тех, что еще не заняты, и которая меня больше устроит.

– Если вы не против, господин комиссар, – произнесла я, поблагодарив его, – мы увидимся после отплытия. Меня провожают друзья.

Почему я сказала эту фразу? Эту ложь? В Нью-Йорке я почти никого не знала и накануне отъезда распрощалась с немногочисленными моими знакомыми. Никто не пересек огромный холл «Френч Лайн», торопясь ко мне, никто не прошел бок о бок со мной по мосткам. Все, что было для меня самого дорогого в Америке, осталось на другом краю континента, в бухте Сан-Франциско или где-нибудь высоко в горах в Сан-Бернардино Рейндж, и оттуда-то как раз я даже не получила телеграммы с пожеланием счастливого пути.

Никто среди толпы, собравшейся на пирсе, не махал мне рукой... Однако при одной мысли о встрече с этим милым комиссаром, который расспросит меня о моих братьях, родных и двоюродных, при мысли, что придется сидеть в этой каюте, где уже незримо собралась вся наша семья, хотя пароход еще стоял у причала, в двух шагах от американской земли... при одной этой мысли меня вдруг потянуло на свежий воздух, на солнце, заливавшее все своим светом. Я поднялась на верхнюю палубу, оперлась о релинги и осталась здесь стоять. Я была почти одна. Толчея шла лишь на главной палубе и в холлах.

Меня снова охватила накопившаяся за неделю усталость. Сидя в такси, которое четверть часа назад доставило меня к Гудзону, я пообещала самой себе, что буду спокойно отдыхать вплоть до завтрака. Раз уж я одна... Но надо же было, чтобы все объединилось против меня и выгнало прочь из каюты. И привело меня на эту палубу, показав еще раз безмерно огромный город и необъятную страну, которую я сейчас покидала навсегда.

А ведь отсюда я почти не видела Нью-Йорка. Его закрывали от меня складские помещения. И я возвратилась мыслью к высотам Рокфеллер Центр; я вновь стояла лицом к лицу со светозарным ветром, рядом с двумя обнаженными по пояс, золотыми от загара юношами. Вокруг нас троих вихрем закружились другие образы, другие воспоминания; передо мной представляли то деревни, плодородные и иссушенные зноем, то нефтяные вышки, торчащие вдоль берегов, спускавшиеся даже в море, озера безмолвия под сенью могучих вековых елей и высоких гор, пустыни, каменистые и поросшие густым кустарником, – все, с чем были для меня связаны рассказы о прериях, – автостреды с разделительной полосой, четко белевшей даже в самую темную ночь, и улицы Сан-Франциско, идущие под уклон, пересеченные отлогими площадками. Вновь я увидела своих соучениц, моих подружек по университету; вот они идут непринужденной походкой, с непокрытыми головами, прижимая локтем тетрадки к левому боку. А главное, я увидела...

Я ждала вопля сирены. Мне почему-то казалось, что она медлит, и я то и дело поглядывала на часы. Если бы от меня зависело дать сигнал к отправлению, не знаю, ускорила бы я его или замедлила. Я торопила эту минуту и боялась ее.

Сирена наконец завывала, и завывала так близко от меня, что я вздрогнула всем телом, оглушенная и напуганная. Потом прошло еще несколько минут. Мне трудно было бы сказать, когда именно пароход вышел из состояния неподвижности. Я поняла это, почувствовала по неестественной суете, охватившей толпу родных и друзей, торопливо покидавших судно. Отсюда, сверху, я видела, как они выстроились вдоль пристани, но крыша склада заслоняла от меня большую часть толпы. Руки дружно вытянулись вперед, замахали платками, шляпами. Но, по-видимому, никто не плакал. Рты выкрикивали прощальные слова, тонувшие в общем гуле, казалось, на всех губах застыла веселая улыбка.

Но вот общее волнение передалось и мне, оно становилось все острее, по мере того как борт парохода медленно проносил нас над сгрудившейся толпой. Когда склад наконец сдвинулся в сторону, показав самый край пристани, где жестикулировала толпа, сбившись на площадке, возвышавшейся над черной водой, внезапное чувство дружеского умиления, а может быть, и тоски сжало мое сердце. Мне вдруг так не захотелось расставаться с этой толпой, с этими незнакомыми мне людьми... Ах, как глупо было с моей стороны не позволить себя проводить! Я была бы рада любому провожающему, даже самому равнодушному. Я тоже искала бы его в давке, нашла бы, я тоже переговаривалась бы с ним жестами, взмахом руки, не спускала бы с него глаз, долго-долго, как можно дольше...

Пароход увозил меня от этого мира, который я покидала, уже покинула. Еще тридцать метров, и силуэты сольются в одно неразличимое темное пятно... Пока еще было время, я поспешила выбрать себе один из этих силуэтов. На самом краешке пристани, чтобы случайно не потерять его из виду. Какого-то белокурого мужчину, вернее, юношу. Я сама возвела его в ранг своего провожающего. Он стал моим *boy-friend*². Он даже не подозревал о том, что я навязала ему эти узы, и, должно быть, все его помыслы были поглощены одним из наших пассажиров, а возможно, одной из наших пассажирок, мне еще неизвестной. Сложив ладони рупором, он кричал что-то, чего не было слышно, и сам смеялся своим словам. А потом, когда расстояние между нами увеличилось, он замолчал и стал махать над головой своей широкой ладонью. Он смотрел в мою сторону, а я смотрела на него. Но он становился все меньше и меньше, лицо его тускнело, уже грозило слиться с соседними лицами... Тогда я протянула к нему обе руки, я махала ему, посылая прощальный привет, и кричала ему что-то, сама не помню что, по-английски.

Я перешла на корму. Публика уже начала собираться в застекленной клетке ресторана. Наступил час завтрака. Но мне не хотелось есть. То, что раньше удерживало меня на палубе, теперь лишало аппетита, делало неузвжимой против взглядов кое-кого из ресторанной публики, не без любопытства посматривавшей через стекла на странную пассажирку, которая упивалась открывавшимся ей зрелищем Нью-Йорка.

И в самом деле, это было прелюбопытное зрелище. Я спускалась по Гудзону. Я видела, как в обратном порядке проходило передо мной все то, что двумя годами раньше было для меня чудом первой встречи.

Нас сопровождала моторная лодка. Она подпрыгивала у правого борта на гребнях волн, поднятых нашим пароходом, и старалась от нас не отставать. В моторке, кроме экипажа, было шесть пассажиров: трое мужчин и три женщины, все они стояли во весь рост. Задрав кверху голову к пассажирам, толкавшимся на невидимой мне отсюда главной палубе, они кричали что-то, передавая друг другу рупор. А тем временем позади них медленно проплывал Нью-Йорк.

Когда исчезли небоскребы *financial district*³, я почувствовала, что пароход набирает скорость. Маленькая моторка поспешала за нами из последних своих сил. Пассажиры ее теперь цеплялись за что попало. И при этом трудились над чем-то, а над чем, я сначала не

² Приятель (*англ.*).

³ Деловой квартал (*англ.*).

поняла. Наконец им удалось откупорить что-то, что оказалось бутылкой шампанского. Потом, несмотря на изрядную качку, они разлили шампанское по стаканам. И, выстроившись лицом к отплывавшим своим друзьям, стали провозглашать тосты. Осушив стакан, каждый бросил его в воду; затем в воду полетела бутылка. Моторка развернулась, устремила к нью-йоркскому мысу и понеслась в обратном от нас направлении с удвоенной скоростью.

Мне показалось, будто последняя ниточка, еще связывавшая меня с Америкой, вдруг порвалась. Помню, я невольно ссутулилась и опустила голову. Я уже не старалась побороть не оставлявшую меня с самого утра тревогу. Я слишком хорошо понимала, откуда она взялась, кто ее причина и как определить ее одним-единственным словом.

Я теперь не думала о том, смотрят на меня или нет. Я не отрывала глаз от каменной громады, и расстояние уже скрадывало ее причудливые очертания, ее размеры. Постепенно отдельные детали исчезли. И тем не менее в моих глазах картина мало-помалу приобретала завершенность. Как на портрете тосканской школы, где голова изображенного человека выделяется на фоне сельского или городского вида, воплощая собою самую душу пейзажа.

То, что вставало перед моим взором, то, что вписывалось в пейзаж города у воды, было обликом некоего юноши. Я знала наизусть каждую его черту, каждый штрих, каждый чуть заметный недостаток – все, из чего складывалась его красота. Это был лоб, чуть-чуть плоский, это были черные глаза с агатовым блеском, свойственным лишь минералам, это был рот, губы странного лилового оттенка, без единой морщинки. Но было также и другое: ребяческая улыбка, брови мягкого рисунка, светло-каштановые волосы. Лицо противоречивое, я даже знала, благодаря смещению каких кровей оно стало именно таким: лицо, в котором явно проступала англосаксонская мягкость, сочетавшаяся с индейской дикостью.

Лицо Нормана.

2

Последнюю ночь на пароходе я спала совсем мало. Откровенно говоря, почти совсем не спала.

Уже вечер показался мне бесконечно длинным. На пароходе я не завязала ни с кем знакомства. Помимо того, что это вообще не в моем характере, я во время всего переезда особенно строго охраняла свое одиночество. Оно мне было необходимо: ведь я знала, что мне отпущено всего пять дней и пять ночей для того, чтобы, если так можно выразиться, провести инвентаризацию. И я знала также, что, как бы я ни старалась, вопреки всем моим усилиям я попаду в Париж, не подготовившись как надо.

Уже не было ни Нью-Йорка, чтобы меня развлечь, ни того лихорадочного возбуждения, в котором я прожила последние дни на суше, чтобы себя оглушить. Долгие, ничем не заполненные часы, которые я проводила в шезлонге на открытой палубе, где гуляет целебный морской ветер и где меньше народу, способствовали ходу моих размышлений. По мере того как Европа становилась все ближе, старые воспоминания, подобные все опережающему аромату родного материка, неслись мне навстречу. И я отлично сознавала, что они вот-вот вступят в единоборство с еще свежими воспоминаниями о моей жизни в Беркли и на озере Биг Бэр. Каков будет исход этой битвы, каковы ее последствия? Что станет со мною, какую я встречу себя после этой битвы, где ареной и ставкой буду я сама?

Ибо теперь уже я была не в состоянии безучастно относиться к этой встрече. Во всем моем поведении, во всех моих привычках происходило нечто вроде генеральной перестановки. Достаточно оказалось ступить на палубу корабля, увозившего меня во Францию, ступить на эту уже в сущности французскую почву, и сразу же в самых потаенных уголках моего существа, где в течение двух лет я старательно укрывала, лишала воздуха, возможно, даже надеялась окончательно удушить мое прежнее «я», оно снова воспрянуло к жизни. Моя застенчивость, диковатость, моя неуверенность в себе и, наконец, то слишком знакомое мне чувство, что за тобой наблюдают и тебя судят, чем и объяснялись моя неловкость и высокомерие, – все, что испарилось и исчезло в первые же недели моего пребывания в Америке, исчезло как по волшебству, – теперь возникло вновь, набирало силы и угрожало возродить мой былой образ. Не будь я начеку, легко может статься, что на гаврскую пристань ступит не french girl, которая произвела хорошее впечатление и оставила по себе хорошую память в Беркли, в двух-трех клубах и еще кое-где в Соединенных Штатах, а просто дочь Буссарделей.

В одиннадцать часов вечера, побродив по кораблю, я наконец уселась в баре, помещавшемся на верхней палубе. Я предпочитала его всем прочим, где вечно была толчея. Я облюбовала себе столик у окна потому, что с этого места виден был кусок палубы, за которой сливались уже неотличимые друг от друга море и небо.

Я долго здесь просидела. В ресторане танцевали: это пассажиры-американцы решили устроить бал в честь последней ночи пути. То и дело они входили поодиночке или вдвоем в бар, но без своих дам, чтобы выпить бокал шампанского с содой-виски. Я догадывалась, что бармены отнюдь не в восторге от одинокой посетительницы, заказавшей себе чашку чая и не повторившей заказа. Я велела подать виски.

После полуночи я пересела за другой стол, лицом к движению. Таким образом я очутилась спиной к залу и испугалась, как бы танцоры не усмотрели в моем поведении чисто французского протеста против слишком явной непринужденности, царившей в зале.

Но вдруг я подскочила на стуле, мне стало глубоко безразлично все вокруг, я прижалась лицом к стеклу, поставила обе ладони щитком и всем своим существом устремилась к тому, что только что разглядела в ночной тьме и с какой-то страстью старалась увидеть еще раз...

Когда наконец я убедилась, что не ошиблась, я оглянулась и тут только пожалела, что никто в баре не обращает на меня внимания. Я не могла сдержать блаженного смеха; должно быть, глаза у меня ярко блестели. С кем поделиться своим открытием? С барменом, случайно оказавшимся рядом.

– The first light! – воскликнула я по привычке на английском языке. – The first light in Europe!

– Очень возможно, – ответил он. – Уже пора.

Ответил он по-французски. И, что хуже всего, с бордоским акцентом. Я была ужасно разочарована. И вяло повторила на его родном языке:

– Первый огонек Европы.

И тут я поняла: и само слово в переводе на французский, и то, что оно обозначало, и весь мой пыл потеряли всякий смысл.

Я отправилась к себе. Но я не могла заснуть. Багаж мой был упакован, кроме одного чемоданчика, так что мне оставалось только спать. Сон не приходил ко мне. Слишком много чувств и мыслей вошло в эту каюту вместе со мной и ночными часами. Самые несложные из этих чувств, которые я принимала наиболее охотно, были нетерпение, любопытство перед тем, что мне скоро доведется испытать, желание не упустить ни малейшей подробности из процедуры прибытия, которую я десятки раз себе представляла.

Часов в семь я проснулась, хотя задремала лишь под утро. Было уже совсем светло. Босиком я подбежала к иллюминатору. И сразу же увидела спокойную, неподвижную воду и английский берег. Пароход стоял. Мы зашли в Саутгемптонский порт. Маленький город весь сиял сквозь уплывающую утреннюю дымку. Он вздымал над жемчужным морем целую гамму оттенков – нежно-желтого, серо-розового, мягкой охры, к которым мне приходилось вновь приучать свой глаз.

Ах, до чего же нов был этот пейзаж! И словно создан для того, чтобы рассеять все мои страхи и все мои химеры: к чему было предаваться целых пять дней преждевременным сожалениям, если меня ждало такое зрелище? Я с умилением любовалась им, приписывала ему тысячи достоинств. Я не скупилась на лестные эпитеты, вкладывая в них всю свою изобретательность. Первым делом я сказала себе, что от этого берега так и веет Европой. Я старалась уловить то, что в нем исстари отвечало потребностям человека. По всему было видно, что страна эта создавалась не в один день. Город рос и ширился, следуя органическим и благодетельным законам, которые вызвали его к жизни, поставили здесь на века, возможно, тем же самым законам, по которым плодородные почвы наслаиваются тысячелетиями в равнинах. Вертикаль колокольни врезалась в небо как раз там, где ей положено и нужно было стоять, и не градостроитель определил ее местонахождение. Еще в самые древние времена была установлена гармония между этим изгибом бухты и расположением кварталов, между рельефом почвы и высотой зданий, между стихиями и людьми, между духами морскими, земными, воздушными, людскими; и гармония эта осталась в силе по наши дни.

«Какая стройность! – подумала я. – Какая естественная гармония!»

И, повторяя про себя эти слова, я снова легла, и на сей раз сон пришел ко мне.

* * *

Он длился так долго, что я вышла к завтраку одной из последних. Впрочем, я и не собиралась торопиться. Теперь, когда берега Франции, почти видные простым глазом, двигались нам навстречу, меня охватила какая-то странная беспечность. С минуты на минуту я откладывала последние приготовления к высадке. Все равно, ведь жребий брошен! Скоро мы войдем в порт. Перебросят сходни. Пройдет еще пять минут, и я почувствую под ногами асфальт гаврской набережной. И тут, бедную, меня затянет в водоворот различных формальностей. При-

дется присоединиться к общему движению, которое приведет меня в вагон, а вагон доставит в Париж, к перрону вокзала, куда съедется для встречи вся моя семья.

Вот эта-то уверенность и позволяла мне пока что еще помечтать, собраться с мыслями, давала последнюю передышку.

Впрочем, одно дело у меня осталось: я не раздала чаевые официантам. Еще накануне я составила список и распределила суммы не без труда: во время пребывания в Соединенных Штатах, где существуют совсем иные обычаи, я как-то отвыкла от подобных операций. Страх недодать чаевые мучил меня еще больше, чем обычно. Ибо во Франции и в дни моей юности меня всегда на сей счет терзали сомнения.

Пришло время пояснить эти слова: я родилась и росла в среде, которая была осыпана благами богатства, и в свою очередь была его рабой. Деньги – это одновременно истоки нашей семьи и ее цель, это ее поработитель и ее идеал. У меня куча родственников, и все вместе мы образуем то, что называется «прекрасной семьей». Все мои дядя, кузены, братья, мой отец – все они биржевые маклеры, банкиры, нотариусы, поверенные. Мой прадедушка Фердинанд, по жене родственник барону Осману, был биржевым маклером при Второй империи. И если все мы считаем нашего прадеда основателем, творцом нашего состояния, мы считаем его также и творцом династии Буссарделей. А ведь и мой прадед, и моя прабабка тоже имели предков, и, надо полагать, людей почтенных. Но они нам неизвестны. Это, так сказать, покрыто мраком прошлого. Мы ведем наше летосчисление только с первого богатого Буссарделя.

Его дело, равно как и его богатство, устояли, несмотря на то что один век сменился другим, сменялись режимы, были войны, разражались кризисы. И дело, и богатство здравствуют и поныне. По праву старшинства дедушка, которого я не знала, получил контору из рук стареющего прадеда; ныне дело принадлежит исполу моему дяде и моему отцу, а мой старший брат ждет своего часа. Учтите также, что у моего прадеда было еще пятеро детей, что все они вступили в брак, не нарушая семейных традиций, и наплодили без счета детей, и подсчитайте, сколько контор, частных банков и всего прочего могло основать все это потомство.

Существуют семьи, где по традиции сын вслед за отцом «идет» в чиновники, в купцы или в офицеры. Буссардели всегда «шли» в биржевики.

Поэтому-то они образуют, продолжают образовывать – вопреки тревоблениям эпохи – нечто вроде покоренного и присягнувшего на верность племени. Я родилась там, видимо, волею случая. Волею случая я стала в нашем роду воплощением мятежного духа... Хуже, чем мятежного: божьего! Все на свете относительно... Дело в том, что в глазах моих родных с малых лет я слыла чуть ли не дурочкой, которая не знает цены вещам. Между тем я осмотрительно тратила свои карманные деньги, вовсе не любила транжирства. Сотни матерей-буржуазок радовались бы такой осмотрительной дочке. Но меня губили сравнения. Мои родные и двоюродные братья, мои двоюродные сестры – словом, все вокруг меня насаждали традиции Буссарделей, умели вести счет деньгам и экономить деньги с такой ловкостью, с таким смаком и изобретательностью, что свойства эти весьма походили на талант. Соревнуясь на этом поприще с самого раннего детства, они делали это с таким пылом, что на фоне нашей богатой, но расчетливой молодежи я казалась безумной мотовкой.

– Она все пустит по ветру! – говорила обо мне мама, когда я была еще совсем крошкой.

И она старалась внушить мне, что со временем у меня будут свои деньги, о чем я никогда не задумывалась и чему никогда не радовалась, ибо плохо отдавала себе отчет в таких вещах.

Впрочем, по этому поводу каждый предавал меня анафеме. Как-то, примерно в то же самое время, я увидела на улице нищего. Мелких денег у меня не было, и я дала ему двухфранковую монету. Милостыню я творила из тех средств, которые нам, детям, дарили дедушка и бабушка на наши ребячьи траты; гувернантка донесла на меня, и в тот же вечер я предстала перед бабусей. Она сильно постарела и все реже и реже снисходила до бесед с нами. В особо важных случаях ее старшая дочь, а моя тетя Эмма, выполняла при ней роль толмача и рупора.

Гувернантка дала перед судилищем свои свидетельские показания, и бабуся только молитвенно воздела руки, возвела к небесам глаза и вздохнула. Но тетя произнесла целую речь. Говорила она всегда с завидной легкостью, восхищавшей родню, и имела склонность к ходячим формулам. Тыча в мою сторону указательным пальцем, она заключила свое обвинение следующими словами:

– У тебя руки дырявые; ты умрешь на соломе!

Это нагромождение образов окончательно сразило меня. Задыхаясь от волнения, я посмотрела на свои руки, и, заметив это, тетя заявила, что я совсем дурочка. Запершись в детской, я в полном смятении чувств старалась представить себе свой будущий конец. Мне чудилось, что я выпускаю дух на гноище и что похожа я одновременно и на Иова, и на Ослиную Кожу, а обе ладони у меня пробиты, как у святого Франциска Ассизского.

* * *

Что бы сказала тетя Эмма, если бы она видела, как я раздаю на пароходе чаевые? Хотя я накануне предназначила для этой цели достаточно крупную сумму, вдруг в последнюю минуту мне стало почему-то стыдно, и я решила прибавить каждому еще немного. Бедная моя тетя, да и вся наша семья не преминули бы осудить этот порыв раскаяния как непростительную слабость и как наиболее разительное доказательство моего неумения жить.

Официанты остались довольны. Они поблагодарили меня, и в ответ я сказала им несколько любезных слов.

Это обстоятельство тоже не было бы прощено моей родней. Сотни раз мама и тетя твердили мне, что я не умею давать приказания прислуге. И что по этой-то причине я никогда не смогу вести как надо дом. Ибо в представлении обеих женщин все проблемы домоводства сводились к этому умению командовать. «Как раз по этому умению, – говорили они, – познается истинная хозяйка дома».

– Честное слово, – твердила тетя Эмма, – можно подумать, что ты с детства жила без прислуги... По рождению ты – Буссардель, а разговаривать с подчиненными не умеешь!

Откуда же мне было уметь, если одно это слово вызывало во мне отвращение? Неужели трудно понять, что девушка двадцатого века, отнюдь не будучи революционеркой, воспринимает такие термины вроде «избранные» и «подчиненные» как бессмыслицу и даже прямое варварство?

Если быть совсем откровенной, я всегда чувствовала какое-то смущение в их присутствии. Я старалась понять, да и сейчас стараюсь, что они обо мне думают. И, однако, смущение это было особого свойства. Импозантные люди никогда мне не imponировали. И когда мама на наших приемах, которые устраивались дважды в год, представляла меня, девочку, какому-нибудь министру или дипломату, я, нырнув в реверанс, без всякого стеснения вступала в беседу с важным господином, что весьма его забавляло и удручало нашу семью. Столь же свободно и непринужденно я чувствовала себя с крестьянами, которых встречала на каникулах. Меня нередко застигали за оживленным разговором с кровельщиком, который приходил чинить крышу нашего фамильного особняка, или с каменщиком на авеню Ван-Дейка. Уже по одному тому, как они отвечали на мои детские расспросы, я чувствовала, что им куда приятнее болтать со мной, чем с моими кузинами; ибо даже в детском возрасте те говорили с «низшими» или свысока, или с излишней фамильярностью, в которой чувствовалась нарочитость, вернее, заискивание. Наконец, в Америке я скорее, чем любая другая французская school-girl⁴, усвоила принятый там повсюду фамильярный приятельский тон. Как же тогда объяснить мое вечное стеснение перед слугами? Ни те примеры, которые я с детства видела в семье, ни мое

⁴ Здесь – студентка (англ.).

воспитание, типичное воспитание юной девицы из буржуазного круга, не могли уничтожить во мне почти физического протеста. Я не любила, когда мне прислуживают, как иные дети не любят, чтобы их заставляли прислуживать другим.

Но в Соединенных Штатах совсем иные нравы. По этой ли причине, или потому, что *maids and waitresses*⁵ прислуживали мне там с улыбкой и называли меня *honey*⁶, или потому, что чаще всего я сама себя обслуживала. Так или иначе, в Америке эта черта моего характера как-то забылась.

Она напомнила мне о себе во время первого обеда на французском пароходе. Когда метрдотель впервые заговорил со мной по-французски, я и обрадовалась, и почувствовала прежнее свое смущение.

– Прикажете, мадемуазель, рыбу на сковородке или запеченную?

Я ответила:

– Запеченную. Только пусть ее подольше подержат на огне.

И я подчеркнула эти слова легким покашливанием:

– Гм-гм!

В возрасте десяти-пятнадцати лет я приобрела эту привычку, пытаясь с помощью покашливания собраться с духом, защитить себя – словом, установить равновесие. Потом оно стало машинальным. И я заметила, что эта привычка тоже вернулась. Я выбрала себя за это нелепое ребячество. «Боже, как глупо!» – подумала я.

Метрдотель принес рыбу и осведомился:

– Подать мадемуазель гренки?

– Нет, тосты.

Он принес мне тосты. Я его поблагодарила. И когда он отошел шага на два, я снова кашлянула:

– Гм-гм!

Теперь как раз, получив чаевые, он подошел к моему столику, чтобы сообщить:

– Мы подходим, мадемуазель.

Я невольно воскликнула:

– Уже?

И я быстро оглянулась направо и налево, совсем забыв, что ресторан расположен внутри парохода и тут нет окон. Зато я увидела, что сижу в зале одна; вернее, почти одна. Не подымая глаз на метрдотеля, я добавила:

– А я так хотела видеть, как мы войдем в порт...

– Пусть мадемуазель не огорчается. В Гавре интересного мало.

– Знаю, – ответила я. – Гм-гм!

Я взяла сумочку и перчатки. В последний раз взглянула на столик, за которым сидела десять раз, и никто меня здесь не побеспокоил. Оглядела большой, довольно унылый зал. Метрдотель стоял позади меня, за стулом; я поднялась, он в последний раз предупредительно отодвинул стул. И добавил:

– Если мадемуазель снова соберется в Америку, надеюсь, она не поедет на каком-нибудь другом пароходе.

Я посмотрела ему в лицо, он улыбнулся, но, так как я не ответила ему улыбкой, он спохватился. Я заметила, что глаза у него очень темные. Кивнув головой, я сказала:

– Непременно. Если только соберусь.

Сейчас я уже не видела в нем метрдотеля. Он поклонился.

– Будем надеяться.

⁵ Горничные и официантки (англ.).

⁶ Душечка (англ.).

Тут я ответила на его улыбку. И постаралась сказать самым непринужденным тоном:
– Будем надеяться.

Я еще помедлила у стола рядом с ним. Но так как спасительное покашливание почему-то не получилось, я повернулась и вышла.

3

Лифт доставил меня в справочное бюро. Я сделала два шага и вдруг застыла. Я не верила своим глазам. Передо мной в этой толчее стоял брат. Я чуть было не натолкнулась на него.

В течение пяти дней и пяти ночей семья настойчиво напоминала мне о себе, ее наиболее значительные персонажи, так сказать, не отходили от меня во время всего путешествия, и теперь перед этим чудом материализации, по терминологии спиритов, я лишилась голоса и дыхания.

Но материализовавшийся объект дышал и заговорил самым обыкновенным тоном:

– Успокойся. – Симон хохотнул. – Я не призрак.

– Вижу, – ответила я.

И замолчала. Он тоже. Можно было подумать, что в коротких словах мы уже сказали друг другу все, что должны были сказать. И в самом деле, он не был призраком. Но я вовсе и не думала, что он призрак.

На сей раз я почувствовала, что меня сразу поставили на место. Смутные опасения, рецидивы чувствительности повторялись раз за разом все чаще и чаще с момента отъезда из Америки, становясь все отчетливее, и воплотились наконец в этой бесповоротной, реальной и весьма опасной угрозе: в моем брате Симоне.

Внезапное появление старшего брата, его самонадеянность, фатовская улыбка, в которой – я знала это – сквозило легкое смущение, моя собственная уверенность в том, что привело его сюда нечто иное, чем родственные чувства... словом, все, казалось, говорило, кричало у меня над ухом: «Берегись!»

Я предчувствовала неизбежную стычку, я почуяла запах пороха и уже насторожилась. Как далеки вдруг показались мне два года, проведенные в Америке! Неожиданный приезд брата – словно меня окунули в холодную воду – воскресил во мне прежнюю мою жизнь, на краю которой я медлила в нерешительности. Опасность омолодила меня. Звенья восстанавливались вновь. Я почувствовала в своей руке руку девушки, которой была некогда я сама, той, что не желала безропотно переносить поддразнивания и злые выходки родных и двоюродных братьев, а бунтовала, горячилась, а иной раз в такие минуты, и только в такие минуты, в ней просыпалась холодная сила.

Странно, но я с какой-то радостью узнавала себя прежнюю. И почувствовала себя в форме. Так легко я им не дамся. Пускай-ка помучаются.

Я заговорила первая.

– Я засиделась за завтраком. Мы уже причалили?

– Нет еще. Я приехал сюда с лопманом.

– Как это мило с твоей стороны!

Глядя на него, я слегка наклонила голову, широко открыла глаза и придала своему лицу радостное выражение, в котором Симон мог при желании прочесть насмешку. Недаром у меня была долгая практика обращения с Симоном. Он никогда не был моим врагом, но не был и моим союзником. Почему же тогда этот эгоист приехал меня встречать? Я прекрасно знала, что Симон не любит беспокоить свою особу и что никогда, ни при каких обстоятельствах не сделает ни одного шага зря. Это-то как раз и отличало его сильнее всего от моего второго брата, Валентина, – хотя характеры у обоих замкнутые, но Валентин мягче, не так умен и не обладает такими талантами стяжателя. Девочкой я прозвала Валентина Простой Процент, а Симона – Сложный Процент.

Да, так какой же все-таки интерес привел моего брата не только в Гавр, но и на борт судна? Рано или поздно он непременно выдаст свою тайну. Симон слишком самоуверен и именно поэтому каждый раз попадает впросак.

Он решил поскорее объяснить причину своего появления.

– Представь себе, у меня на этой неделе оказались в Гавре дела... Да-да, пришлось провести операцию с иностранной валютой, а служащим мы не могли ее доверить.

«Довольно неуклюже, – подумала я. – Слишком много подробностей зараз: ясно, лжет».

Он добавил:

– Поскольку я сам мог назначить число, я нарочно назначил собрание на сегодняшнее утро, думаю, дай встречу пароход, а потом поедем вместе в Париж...

– Ах вот как?.. – произнесла я таким тоном, будто верю каждому его слову.

Теперь все было ясно. Именно эта любезность брата и насторожила меня. Здесь речь шла не просто о лжи, но о лжи, скрывавшей какой-то серьезный мотив. Меня нередко удивляла тяжеловесная хитрость Симона. Я даже не раз задумывалась: на самом ли деле он, человек такого ума, считает, что ему ничего не стоит обмануть ближнего. Пожалуй, скорее всего это объяснялось какой-то хамоватой ленью, словно он вам говорил: «Хотите верьте, хотите нет: мне от этого ни тепло, ни холодно. Но не надейтесь, что ради вас я буду стараться».

Поэтому я не боялась, что он заметит мою настороженность. И сказала:

– А ты все такой же. Ничуть не изменился.

Я оглядела его с ног до головы: в костюме из дорогой материи, высокий, грузный – после тридцати брат начал полнеть, – но все-таки красивый той красотой, которой блещут на довоенных фотографиях мужчины из богатых семей. Он знал те годы не многим лучше меня, я их вовсе не знала, но можно было подумать, что ему дорога и мила Довоенная эпоха и что он не хочет с нею расставаться. Это стремление, впрочем, нередко наблюдается у людей, тоскующих по ушедшим и милым им временам; я наблюдала это явление на примере многих моих родных, некоторые из них были как бы живым воспоминанием президентства Фальера или даже эпохи Греви. Удивительно другое: как Симон, родившийся в нашем столетии, не избежал этой заразы. Очевидно, подобный феномен объяснялся некой скрытой внутренней связью с теми временами или подчинялся закону косности. Словом, Симон воскрешал собой некий законченный, отживший тип. И во фраке, и в плавках он принимал пластические позы, выгибал грудь, разглаживал усы так, словно звался Артюром или Киприаном.

Он ответил, что я, наоборот, немножко изменилась. И к лучшему.

– Ты ведь хотела похудеть, – добавил он, – по-моему, ты потеряла в весе.

– Во все нет. Просто занималась спортом, и много. Приобрела мускулатуру и нахожусь в форме. И ничуть я не похудела.

И, не удержавшись, добавила:

– В Америке вообще очень здоровый образ жизни.

Но Симон не пожелал поддерживать разговора в этом направлении и произнес:

– Может быть, мы все-таки поцелуемся?

Я чуть не расхохоталась, взглянув на Симона. Благодушно улыбаясь, он широко раскрыл объятия. Нет, он действительно превосходный актер. Я подставила ему щеку. Руки его вяло обвились вокруг моих плеч, а усы лишь коснулись моей щеки. Это некрепкое объятие, этот холодноватый, бесплотный поцелуй... я узнала буссарделевское лобзание и спросила:

– Папа и мама здоровы? А Валентин, а твоя жена, а бабуся?

* * *

Никаких подробностей о здоровье моих родных он не сообщил. Даже о здоровье своей жены. А ведь я знала, что она беременна, мне об этом писали в Америку; мне было известно также, что этого ждали давно. Но вместо того, чтобы говорить о жене, Симон стал рассуждать о ребенке, которого она носила, другими словами, о своих собственных, связанных с рождением сына проектах. Уже в течение месяца этот эмбрион, это отцовское упование прояв-

ляло редкостную жизненную активность и обещало достичь в скором времени рекордного веса. Жизнь матери была чем-то второстепенным по сравнению с этим утробным существованием, уже воплощавшим собою личность законного наследника.

История жизни Симона оправдывает, если можно так выразиться, строй его чувств. Первым браком он был женат на дочери одного очень богатого судьи. Она подарила мужу двух детей, затем третьего, но умерла родами. Брат, который гораздо сильнее любил своих отпрысков, нежели супругу, легко перенес этот удар. Настоящий удар был получен тремя днями позже, при вскрытии завещания. Предосторожности ради, которую, кстати сказать, моя семья так и не простила покойной, мать завещала все состояние своим несовершеннолетним детям.

Брат призадумался. Потом направил свое внимание на сестру покойной. Тогда она была еще совсем юная девочка, вернее даже, подросток. Замуж выходить так рано она не собиралась, а уж за Симона и подавно, в ее глазах он был родным, зятем, да еще слишком взрослым. На сцену выступили мои родители, заручившись в качестве подкрепления красноречием тети Эммы и дяди Теодора, а также внушительной немотой бабуси. Короче, Симон выставил целую гвардию.

Судья с супругой капитулировали без борьбы. В этой семье, как и в нашей, любили деньги не за то, что с их помощью можно сделать, и уж никак не ради самих денег, — их любили за присущее им свойство множиться. И под этим кровом первой заповедью тоже было по возможности ничего не дробить, накапливать как можно больше в одних и тех же руках, короче — не выпускать за пределы семьи. Моя мать только по этим причинам вышла за моего отца, который доводился ей двоюродным братом и которого она не любила.

Вероятно, подобные доводы не могли иметь особого успеха у такого еще очень юного существа. Но тут решили сыграть на самых чувствительных струнах. Ей твердили о несчастных малютках, оставшихся без матери. Вдовец, продолжая носить траур, руководил из-за кулис заговором.

В конце концов он женился на своей молоденькой свояченице. Венчание состоялось в церкви Сент-Оноре д'Эйлау. Когда по окончании торжественной церемонии представители обоих семейств выстроились в ризнице, я заметила, что мама и брат обменялись быстрым взглядом, и еще не раз вспоминала я этот взгляд. Они торжествовали. Двое союзников, наиболее могущественных, хотя внешне оба оставались в стороне, обменялись взглядом, в котором читалась не только радость, но и единомыслие. Она была довольна своим сыном, как он был доволен своей матерью. Приглашенные стали подходить с поздравлениями. Мама в сиреневом платье, которое не шло к ней именно из-за своего лилового оттенка, казалось, освещала своей улыбкой всю ризницу. Пожимая протянутые ей руки, она невольно оборачивалась к Симону, к этому вдовцу-молодожену, который был истинным ее сыном. Обычные светские поздравления, обращенные к Симону, чудилось мне, утрачивали свое банальное звучание, становились весьма двусмысленными. Да, конечно, его было с чем поздравить. Он возместил свои потери. Он снова завладел своими деньгами. Реванш был особенно полным, ибо, насколько мне известно, Симон, наученный горьким опытом, потребовал при вступлении во второй брак значительно большего приданого.

И вот теперь наша новая заводская кобылка тоже в тяжести, и срок родов приближался. Покойница была основательно забыта. О ней дома не говорили. И, однако, о ней заговорят: лет через пятнадцать, когда ее дети достигнут совершеннолетия. Они унаследуют ее состояние. Убедятся, что она действительно существовала. Наследство придаст этой туманной тени вполне ощутимую реальность. Через предсмертные распоряжения она вновь войдет в жизнь троих молодых людей, которые мечтательно вспомнят о своей матери, прикидывая на счетах сумму наследства.

Когда первая супруга Симона была еще жива, мне почему-то часто казалось, что она могла бы стать моим другом. И мне жилось бы тогда не так одиноко. Однако у нее было куда

больше сходства с моей родней, чем со мною, и со временем она сблизилась бы, очевидно, с ними. И все же... К ее заместительнице я почему-то с первых же дней стала испытывать неприязнь, не сошлась я также с женой Валентина, так что покойница была и осталась моей самой любимой невесткой.

* * *

Надеюсь, вы поверите мне, что все переживания, связанные с моим прибытием в Гавр, которые я предвкушала заранее еще в пути, были сведены на нет присутствием брата. Будь я одна, я побежала бы, все осмотрела, ко всему бы прислушалась, накупила бы себе десяток газет. Пошла бы в бар при морском вокзале и заказала бы себе на французской земле, которая уже не ускользает из-под ног, что-нибудь по-настоящему французское – чашку кофе или вишни в коньяке. А вместо этого мне пришлось наблюдать за своим спутником и наблюдать за самой собой.

Специальные поезда Трансатлантической линии уходили с подземного вокзала, где проигрыватель беспощадно орал одну песенку за другой. Орал изо всех своих сил. Монмартрская лирика чередовалась с приевшимися мотивчиками военных лет. Эта какофония, которая, видимо, должна была подготовить американцев к предвкушению *gau Paris*⁷, увы, произвела на меня совсем обратное действие. Она усилила мое разочарование, ввела меня в слишком уж реальный мир. На мгновение я помедлила на пороге этой глубокой шахты, у эскалатора, который сейчас повезет меня вниз. Я колебалась, повинуюсь моему теперешнему умонастроению и не впадая в иллюзии. Еще бы: возле меня стоял брат, держа в руке мой несессер и мое меховое манто. Он решил, что я просто боюсь спускаться по эскалатору. И поддержал меня под локоть. Я отстранилась и чуть насмешливо улыбнулась.

– Ты же не боишься! – сказала я ему.

Я шагнула, я доверилась эскалатору, и под звуки: «Взлетай, мой крошка, взлетай», а потом «Типперери» меня повлекло вниз.

* * *

Мы прогуливались с Симоном вдоль состава. Он сообщил мне, что заранее взял два места в последнем из отходивших поездов, чтобы нам ехать вместе. Все другие поезда были переполнены. Пришлось мне сдать свой билет. Выполняя все эти формальности, я снова подумала о неожиданном и странном появлении моего брата. Когда же я пойму эту загадку?

⁷ Веселый Париж (испорч. фр.).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.